

ВЕНЕЦ ТЕРНОВЫЙ

*Памяти Ф. М. Достоевского*¹

Достоевский закончил свою бессмертную речь о Пушкине следующими словами: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

Эти глубокие слова приложимы и к самому Ф. М. Достоевскому. В известном смысле и всякий человек есть неразгаданная тайна, хотя мимо нее обыкновенно проходят не замечая, в особенности же это ясно относительно тех людей, которые раскрывали свою душу, но чем больше они ее раскрывали, тем загадочнее и таинственнее она оставалась, и неразгаданными сходили они в могилу. Последнее слово, тайна живой индивидуальности, ее духовная сущность оказывалась все-таки невысказанной, творческий замысел, вызвавший к бытию эту живую душу, нераскрытым, и о том, что же действительно было самым важным, подлинным, существенным в человеке, приходится только гадать и спорить. И в высочайшей степени все это приходится сказать об индивидуальности такой мощи, богатства, и сложности, какою был Ф. М. Достоевский. Найдется ли во всей русской и, быть может, даже мировой литературе большая сложность, причудливая изломанность души, чем у Достоевского, и вот почему печатью особенно глубокой тайны запечатлена его индивидуальность. Эту-то тайну нам и прихо-

¹ Читано на вечере в память Ф. М. Достоевского в Киеве 25-го февраля 1906-го г. и было напечатано в № 1 журнала «Свобода и культура». О Достоевском ср. еще наши следующие очерки: «Иван Карамазов как философский тип» (в сборнике «От марксизма к идеализму», 1903), «Васнецов, Достоевский, Соловьев и Толстой. Параллели» (в сборнике «Литературное дело»), «Через четверть века» (Вступительный очерк о Ф. М. Достоевском к 6-му изданию его сочинений).

дится теперь разгадывать. В чем же душа Достоевского, где проявилась ее подлинная, первоначальная стихия, не то, что он сам думал и писал о себе, но чем он действительно был? Ответить на подобный вопрос вообще можно только субъективно: это значит рассказать о том, что видит в нем наше собственное внутреннее око, почему нам нужен и дорог Достоевский, во что мы верим в Достоевском (ибо в конце концов здесь, как и везде, самый основной и центральный вопрос решает только акт веры, внутреннего ясновидения, интуитивного чувства). Ответить на вопрос, в чем тайна личности, значит духовно познать ее, а это познание есть такой интимный внутренний акт, который основывается только на духовном слиянии, на сокровенном касании душ, скорее на непосредственном восприятии, нежели на рефлектирующей деятельности рассудка.

В отношении к Достоевскому, в *познании* его со стороны русского общества и русской критики, существует двойное течение. Одна часть — я не преувеличу, если скажу, что к этому разряду принадлежит большинство¹, — относится к Достоевскому с грубым равнодушием, его в сущности не замечая или же отделяясь от него дешевыми приемами азбучного обличения политических заблуждений Достоевского. Вся проблема Достоевского, если таковая и есть, исчерпывается для них тем, что Достоевский неправо мыслил о самодержавии и о других политических вопросах, был в прогрессивном смысле политически неблагонадежен. Наклеить ярлык реакции и сдать в архив — это так просто, настолько потакает сложившимся привычкам и умственной лени, что нечего удивляться, если и до сих пор не прекращаются подобные упражнения. Критиками своего времени (за совершенно единичными исключениями) Достоевский был мало понят, и даже проницательный Михайловский отнесся к нему поверхностно-публицистически, увидев в нем лишь «жестокий талант».

Такому духовному равнодушию к Достоевскому и оценке его лишь под политическим углом зрения в новейшее время как будто положен конец. Начинается более серьезное изучение Достоевского. Через четверть века после его смерти Достоевского, наконец, заметили и начинают понимать. Достоевского вообще можно не замечать, и против этой духовной слепоты нечем пособить,

¹ По крайней мере так было еще лет 10 тому назад.

но тому, кто однажды его заметил, уже не оторваться от «жесточкого таланта», для того Достоевский становится спутником на всю жизнь, мучением, загадкой, утешением. Средины здесь быть не может. Заметив Достоевского, нельзя уже от него оторваться. Только это не значит, что он может быть воспринят легко и просто, что он ясен и этим успокаивает противоречия. Нет, проблема Достоевского действительно трудна, сложна и мучительна. Ибо в душе этого человека происходила великая, непрерывная борьба, и из кратера этого клокочущего вулкана извергались и огонь, и расплавленный металл, и лава, смешанная с горячей грязью. Нельзя скрывать, что в Достоевском действительно есть нечто непросветленное и неумиренное, а есть и такое, от чего нужно отказываться,— и это делал, напр., такой ближайший его единомышленник, как В. С. Соловьев. В этом живом конгломерате, который представляет душа Достоевского, чистейшее золото спаялось с золою и шлаком, окончательного отделения их не произошло, и оборвавшаяся жизнь унесла в могилу тайну разрешения, синтеза, примирения и последнего разделения добра и зла. И эту видимую противоречивость каждый тоже толкует по-своему, у одних ложатся на верх одни страницы из Достоевского, у других — другие, одни видят лишь случайный болезненный нарост в том, от чего им приходится отказываться в Достоевском, напротив, другие в этом-то и видят выражение потаенной сущности, как бы приговор над всею индивидуальностью Достоевского. И каждый, повторяю, интимно воспринимая Достоевского, выражает в сущности то, во что он верит и во что не верит в нем, обнаруживая вместе с тем, что и сам он имеет в своем внутреннем опыте. И в этом смысле отношение к Достоевскому более, чем многое другое, характеризует собственную индивидуальность человека, определяет, так сказать, его калибр.

Когда хоронили Достоевского, многочисленная толпа провожала траурную колесницу на кладбище и, по описаниям современников, она была самого различного состава: учащаяся молодежь, студенты и курсистки разных специальностей, офицеры и дамы, юноши и старики,— такая же разнообразная толпа, как та, которая восторженно рукоплескала за полгода перед тем Пушкинской речи, когда общее напряжение восторга разрядилось обмороком неизвестного молодого человека близ кафедры у ног Достоевского. Что же соединило эту тол-

пу и породило этот до боли доходящий, мучительный энтузиазм любви и благодарности за речь, которая во многом шла вразрез всем ходячим мнениям и предрассудкам, которая кичливых и самодовольных звала к покаянию (смирись, гордый человек! смирись, праздный человек! — так восклицал в ней к русской интеллигенции Достоевский)? Конечно, и в похоронной процессии, и на Пушкинском празднике всего менее было политических единомышленников Достоевского, да и вообще были, вероятно, представители различных политических мнений. Были сломаны, значит, политические перегородки, обычно разделяющие людей, всеобщий энтузиазм испепелил их кажущуюся крепость! Мало было, надо думать, и таких, которые подозревали весь действительный размер литературного и философского гения Достоевского. Конечно, его без преувеличений следует причислить к величайшим писателям и мыслителям всех времен и народов. Ведь пред легендой о Великом Инквизиторе и вообще философскими главами «Братьев Карамазовых» (и многими страницами из других его произведений) бледнеют — говорю это с полным убеждением — мистерии Байрона, и, может быть, даже и «Фауст», а в романах Достоевского, нужно прямо сказать, заключено больше подлинной философии, нежели во многих томах ее школьных представителей. Достоевским были предугаданы и такие своеобразные и симптоматические явления европейского сознания, как Ницше (вспомните галерею ницшеанских типов: Раскольников, Кириллов, Ставрогин и Иван Карамазов). Понимание общего значения Достоевского в этом смысле до сих пор остается уделом немногих и, кроме того, в этом я тоже глубоко убежден, вполне еще раскроется лишь будущим временам. Мы уже видели, как вырос для нас Достоевский после революции, относительно которой он обнаружил такую поразительную прозорливость.

Чем же, стало быть, был дорог Достоевский этой разношерстной толпе, какая интимная связь породила его с теми, кто, не разделяя вовсе его веры, его мнений, не может проникнуть и во всю сложность его духовной жизни? Очевидно, эта привязанность относится более к человеку, чем к литератору и художнику, очевидно, она основывается на более глубоком фундаменте, нежели литературные симпатии или политические мнения. От сердца к сердцу и от совести к совести идет эта незримая связь, она проходит в тех глубинах, где скрыта связь

матери и ребенка, брата и сестры, ближайших друзей. И, мне кажется, в этом покоряющем обаянии именно и нужно искать разгадки тайны души Достоевского, не в писательстве, а в том, что стоит за ним и иногда им даже заслоняется и маскируется,— в его сердце. Больное, любящее и страдающее сердце — вот святыня, пред которой преклоняются все колени, и вот то, что влечет к Достоевскому чрез все разногласия с ним, непонимание и предрассудки. Достоевскому был дан страшный, истинно человеческий и единственно человеческий дар — дар страдания во имя любви к людям, дар страдания и крест страдания. Если бы мы не были такие эгоисты, если бы мы не были заняты постоянно своими мелкими личными делами, то покой и счастье стали бы навсегда невозможны для нас. Стоит только открыть глаза и уши, прислушаться к голосам этого мира, мы услышим от всех времен и народов, от прошлого и настоящего нестерпимый стон, проклятия, жалобы, плач детей, мы почувствуем, что земля под нами пропитана кровью и весь этот мир и вся история есть одна мучительная трагедия. Мы не можем вынести и вместить этого сознания, мы слишком любим себя и свой покой, и только потому мы живем в относительном равновесии. Притом же лишь в меру своего собственного развития мы способны понимать не только физические, но и духовные страдания, которых, может быть, и не подозревали ранее: неразвитому человеку муки Фауста, Раскольников или Ивана Карамазова представляются блажью. Слышать и понимать, а следовательно, и разделять, и нести на себе все скорби и грехи всего мира есть дело Бога, и мы приближаемся здесь к страшной тайне Гефсиманской ночи, кровавого борения и пота. Но к священной ограде Гефсиманского сада, из которого есть только один путь — на Голгофу, приближается всякий в меру своего страдания за других, бескорыстной, самоотверженной скорби и боли за человека. И близко, ближе многих других подошел к ней Достоевский, и это-то и почувствовала в нем своими не окаменевшими еще сердцами молодежь. Достоевского, который принял в свою душу и муки Раскольникова, и страдания Сони, и стыд Мармеладова, и горе Екатерины Ивановны, и слезы замученных деток, и тоску Карамазова, и «бедных людей», и «униженных и оскорбленных», и каторжников, и аристократов, Достоевского, «жестокий талант» которого мучит этой своей мукой, исторгает слезы, жжет своим огнем, этого До-

стоевского не в состоянии искренно отвергнуть человек, он может от него заслониться, не допустить его до своего сознания, но святыни этого человеческого страдания и любви к человеку он не может сознательно отвергнуть, как не может он сознательно отвергнуть Того, Кто мучился за людей и молился во тьме Гефсиманского сада. И Голгофа, которая была в сердце у Достоевского, крест, который был в нем воздвигнут, вот что повелительно склоняет нас перед Достоевским.

Крестным путем, чрез страдание каторги, чрез грязь и черноту жизни, чрез распахнувшиеся для него бездны человеческого сердца пришел Достоевский к Тому, Кто весь есть Любовь, и, однажды увидав и поняв тайну подвига распятого Бога, всю Его единственность и святость, он утвердился на Нем, как на основании для веры и в людей, и в Бога, и в спасение человечества. Христос занял всю его душу, да иначе этого быть не может: Его можно отвергнуть, но если принять, то только всей душой. В посмертных заметках Достоевского значится, между прочим, план «написать книгу об Иисусе Христе». Мы не знаем, написал ли бы он такую книгу, но в известном смысле все его книги, особенно последних лет, написаны о Христе, во всех Он является истинным, хотя и незримым центром, иногда выступая открыто. Величайшее торжество гения Достоевского состоит именно в том, что он, сняв церковную позолоту и византийскую традиционность, по-новому, по-своему сумел в своих произведениях дать почувствовать живого Христа, он ставит Его как бы среди нас и, приближая Его, научает любить Его. Неотразимой силы и пафоса достигает поэтому Достоевский именно в тех местах своих произведений, где появляется у него — зримо или незримо — Христос. Вспомните потрясающую сцену чтения евангельского рассказа о воскресении Лазаря в «Преступлении и наказании», где «убийца и блудница сошлись за чтением вечной книги» и где до глубочайшего дна распахиваются вдруг глубины грешной и скорбной человеческой души, вспомните главу о Кане Галилейской в «Братьях Карамазовых», где тоже описывается момент такого душевного подъема, когда человек определяется на всю жизнь. Поразительно и то, что говорит в «Бесах» на своеобразном своем языке воинствующий атеист Кириллов пред самоубийством, предпринимаемым, чтобы по-нищиеански «заявить своеволие».

«Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всеми, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, никогда даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты — ложь и дьяволов водевилей. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?»

Какая, казалось бы, странная и дикая идея — дать почувствовать Христа в проникновенно-предсмертном бреде неверующего человека пред самоубийством, и между тем потрясающая правда этого изображения сама говорит за себя.

Вспомните, наконец, как описано появление Христа в «Легенде о Великом Инквизиторе», — вы как будто присутствуете при этом появлении. И этой пламенной любовью ко Христу и определялось, в сущности, так называемое мирозерцание Достоевского, его вера. Охарактеризуем ее лучше всего словами В. С. Соловьева, сказанными над могилой Достоевского.

«Окончательная оценка всей деятельности Достоевского, — говорил Соловьев, — зависит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во что он верил и что он любил. А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род *Божий*, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечною силою любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту победу. Изведав *божественную* силу в душе, пробивающуюся чрез всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловеска. *Действительность* Бога и Христа открылась ему во *внутренней* силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю жизнь»¹.

¹ Собрание сочинений Вл. Соловьева. Т. III, 169—170.

Не нужно думать, что легко и безболезненно давалась Достоевскому эта его вера. Напротив, ценою жесточайшей борьбы, отчаянных сомнений, мук богооставленности («Боже мой, вскую мя еси оставил») далась ему она, и часть — конечно, только часть, ибо самого главного здесь рассказать нельзя, — рассказывает он в своих романах. В человеческой душе ему были открыты такие глубины содомского греха, от которых кружится голова, но зато он постигал и вершины святости с белеющими снегами вечности; ведомы были ему и подполье, и приют, и тюрьма, и монастырь. Все это проходило, конечно, чрез его собственную всеобъемлющую душу, откуда он мучительно извлекал эти страшные образы. Может быть, ему в тысячу раз легче было бы не знать о человеке того, что он знал, и не понимать того, что он понимал, но ему надо было это знать и понимать, это входило в тяжесть креста его. И вот в причудливом и фантастическом соединении чередуются эти типы: Соня и Свидригайлов, старик Карамазов и старец Зосима, Грушенька и юродивая (из «Бесов»), Алеша и Иван Карамазов, Великий Инквизитор и черт в кошмаре Ивана Федоровича, и все это клокотало и боролось в нем самом в мучительной борьбе. Также и в философских размышлениях перед Достоевским открывались такие бездны сомнений, которые и не снятся ходячему, беззаботному и поверхностному отрицанию, так что на этом основании иные считают Достоевского атеистом, хотя и страстно жаждавшим веры, но ее не нашедшим. Достоевский не был философом-систематиком, он не противопоставлял аргументов аргументам, побивая одни другими и приходя затем к тому или другому окончательному выводу. Он клал на одно и то же полотно художественное изображение чувств и настроений, иногда взаимно исключавших друг друга. Сказать, возвысился ли он сам над этой борьбой, победитель ли он или побежденный, значит тоже делать попытку раскрыть неразгаданную тайну его, может быть, самую роковую и страшную тайну. Пред концом жизни Достоевский дал последний, самый жестокий и решительный бой противоположным началам, боровшимся в его романе «Братья Карамазовы», где «бунт» и «Легенда о великом инквизиторе» чередуются с поучениями старца Зосимы и «Каной Галилейской», где все вопросы обострены в ужасающей степени. Этот роман остался незаконченным, его окончательная развязка и последнее слово автора унесены в могилу, и смерть по-

ставила свое обычное многоточие. Как бы то ни было, ответить на вопрос, что побеждало в душе у Достоевского, чем он был сам, Иваном или Алешей, с бесспорностью, устраняющей всякие возражения, нельзя, и в этом своеобразии, но и мучительности творчества Достоевского.

Я лично не сомневался и не сомневаюсь, что положительные начала все-таки торжествовали в душе Достоевского и вера побеждала в нем сомнения, хотя и не всегда уничтожала их остроту. Основной и существенный аргумент в пользу такого мнения я вижу в том, что иначе Достоевскому и не давалось бы изображение такой силы положительных религиозных переживаний, в его сочинениях не появлялось бы того лика Христова, который присутствует в них теперь, иначе, быть может, они просто не были бы написаны, и весь тон, план, дерзания проповеди были бы иными. Весь окровавленный, Достоевский тем не менее оставался победителем. Так я чувствую Достоевского, и мне не пришло бы даже в голову особенно на этом настаивать, если бы противоположное мнение столь настойчиво не повторялось некоторыми современными скептиками (как напр., Шестовым).

Перехожу теперь к той категории взглядов Достоевского, которые принято называть общественным мировоззрением. Очевидно, что у Достоевского оно было вследствие сложности его общего мировоззрения сложнее, нежели у большинства его — да и наших — современников, обыкновенно довольствующихся упрощенным механическим и материалистическим мировоззрением, при полном отсутствии философского и религиозного углубления и даже с отрицанием такового. Там, где кончаются для него все вопросы, для Достоевского, в сущности, они только начинаются. Обычные теории прогресса не чувствуют мировой трагедии или, вернее, чувствуют ее только для настоящего момента, сравнительно холодны к ней в прошлом и совсем не дают ей места в будущем, для которого рисуется перспектива земного рая грядущих поколений. Очевидно, здесь не сомневаются в том, что это есть уже достаточное разрешение мировой трагедии, с которым благодушно примирятся счастливые человекобоги будущего. Однако, справедливо усумниться, можно ли видеть истинно-человеческий прогресс в таком типе развития. Устами Ивана Карамазова Достоевский выразил это сомнение о цене прогресса и о приобретении чьего бы то ни было счастья хотя бы слезинкой ребенка. Вы помните, что Иван бунтует против Бога и

Его мира и отрицает возможность гармонии и прощения даже в будущем веке. Одно из двух: или каждая человеческая личность, как считал Достоевский, есть высшая ценность, которая не может рассматриваться как средство, и в таком случае вся эта теория, основанная на историческом «унаваживании» почвы трупами одних для будущего счастья других, если последних не стошнит от такого счастья, не дает никакого выхода из мировой трагедии, или же люди действительно не равны в своем человеческом достоинстве, и будущие исполнены или человекобоги и представляют собой истинную ценность и цель истории, а мы относимся к ним примерно так же, как обезьяны или еще более отдаленные зоологические виды к людям. Но, очевидно, такое воззрение отнимает почву вообще у всяких идеалов, по крайней мере демократического и социалистического характера. Поэтому, если только признать в каждом человеке личность, образ Божий, то приходится принять, что или совсем нет разрешения мировой трагедии и теория прогресса есть фальшь и самообман, или же это разрешение возможно только там, где видел его и Достоевский, т. е. в христианской вере в восстановление всех ценностей, всех индивидуальностей, в учении о будущем веке, короче, о всеобщем воскресении. При этом воззрении и исторический процесс с его относительным и условным прогрессом получает свое значение и смысл как необходимое звено общего богочеловеческого процесса.

Но, оставляя в стороне эти конечные и мировые вопросы, даже и в рамках относительного, исторического прогресса у Достоевского не могло не быть, конечно, серьезных пунктов разногласия с господствующим позитивизмом. Совестно было бы и излишне уверять, что автору «Униженных и оскорбленных» не были чужды социальные вопросы, вопросы богатства и бедности, то, что в широком смысле можно назвать проблемой социализма. Не может быть также сомнения в том, что и для него она разрешалась лишь в одном смысле, в каком она только и может вообще разрешаться, идеалом и для него было устранение социальной неправды и установление всеобщей солидарности. Но он находил и, оставаясь верен всему своему мировоззрению, конечно, не мог не находить, что в материалистических теориях социализма вопрос ставится слишком просто и недостаточно глубоко и что для достижения всеобщей солидарности одного механического соединения людей слишком мало. Он не от-

рицал правды социализма (как это может показаться иному читателю ввиду его обычных нападок на социализм, в которых он имеет в виду лишь определенную его версию, именно материалистическую как наиболее распространенную), но он хочет эту относительную правду поставить в связь и подчинить высшей религиозной правде, согреть и оживить холодные и мертвые стены религиозным огнем. В этом смысле и следует понимать слова его, написанные в последнем выпуске «Дневника писателя»: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветлым соединением во имя Христово*. Вот наш русский социализм». Конечно, это требование рассматривать правду социальную лишь в свете правды религиозной само по себе не препятствует признавать все великое значение и внешних реформ, так сказать, внешнего социализма, который является тоже исполнением внутренней правды, и из-за того, что он еще не есть все, не следует отрицать или умалять его значения как исторически данного средства. В обострении полемики Достоевский не соблюдал этого масштаба и перегибал палку в сторону, противоположную той, в которую она была перегнута его противниками, и приближался иногда к толстовскому индивидуализму, вообще столь ему чуждому. Мы не хотим закрывать глаза на эту социологическую аберрацию у Достоевского, укажем только в его защиту, что он не был ни реальным социологом, ни политиком, ни экономистом, ставил всегда вопросы в их принципиальную ширь, но, вместе с тем, и с высоты птичьего полета, в некотором отвлечении от непосредственной практики жизни.

Интересна и глубока его критика общественно-механического разрешения социальных вопросов, как оно рисуется в головах тех, кто считает человека всецело продуктом или рефлексом экономических и других причин, пустым местом, предназначенным быть складом для всяких влияний. В одном из самых своих ранних произведений, написанном до ссылки (еще 1846 года), в «Записках из подполья», он указывает на упускаемое при этом из виду иррациональное и слепое даже своеволие человеческой природы, которое может сломать всякое «целесообразное» и «выгодное» устройство.

«Тогда,— читаем мы здесь,— настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы соб-

ственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Конечно, никак нельзя гарантировать, что тогда не будет, напр., ужасно скучно (потому что — что же и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь!.. Ведь я, напр., нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что везде непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, о которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно. Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы до сумасшествия,— вот это все и есть та самая пропущенная, самая выгодная система, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку необходимо непременно благоразумно-выгодное хотение? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Но еще более мрачные и трагические тоны слышатся у Достоевского, когда он говорит о нравственных опустошениях, связанных с утратой веры и высшего смысла жизни, которые неизбежно ощутит человечество вместе с социальными успехами в «государстве будущего», устроившись без Бога. Проблема атеизма, настоящего и будущего, постоянно волновала Достоевского. Вспомните это потрясающее место из разговора «Подростка» с Версиловым и слова этого последнего, глубоко западающие в душу.

«Я представляю себе, милый мой,— начал он с задумчивой улыбкой,— что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали; великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был бы уже как бы

последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались одни, и разом почувствовали свое великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглушевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который был и Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенной, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открывали бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как бы отец и мать. «Пусть завтра последний день мой,— думал бы каждый, смотря на заходящее солнце,— но все равно я умру, но останутся все они, а после них дети их»,— и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в сердцах их. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть»...

Достоевский сам не выдерживает безмерной, трагической и безысходной грусти картины, она кончается все-таки появлением Христа: «Я не мог обойтись без Него,— говорит Версильов,— не мог не вообразить Его, наконец, среди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирали к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть Его?» Тут как бы пелена спадала со всех глаз и раздавался бы великий и восторженный гимн нового и последнего воскресения...» Вот думы, которые волновали Достоевского относительно «государства будущего»...

Нам необходимо теперь сказать несколько слов о политических мнениях Достоевского¹. Известно, что он

¹ Вопрос о политическом мировоззрении Достоевского в связи с религиозным требует внимательного и непредубежденного исследования и доселе остается трудным и мало разъясненным.

был политическим славянофилом и отрицал конституционализм во имя идеального самодержавия. Исходя из этого общего принципа, в роли политического публициста, которую по странному пристрастию он охотно брал на себя, он развивал идеи внешней и внутренней политики, приближающиеся к тому, что можно назвать националистическим империализмом. Каждая основная ошибка имеет свою логику и, пройденная до конца в своих отдаленнейших заключениях, приводит к явному абсурду. Подобные абсурды, наряду с глубочайшими прозрениями, встречаются и в публицистике Достоевского, и они представляют благодарный материал для враждебной и поверхностной критики, пользующейся ими, чтобы посредством политического изобличения скомпрометировать и ненавистное не только в этих внешних проявлениях, но и еще более во внутренних основах мировоззрения. В отношении Достоевского к внутренним вопросам русской жизни, как и у всего славянофильства, от которого он здесь не отличается, проявляется фактическая историческая ошибка, преувеличение действительных способностей, идеализация самодержавия. Это ошибка, столь невозможная для нас, в атмосфере 60-х годов, после крестьянской реформы, вся недостаточность которой выяснилась не сразу, после либеральных реформ, сменивших мрачный режим предшествующего царствования, была гораздо допустимее и понятнее, и многие тогда отдавались этому настроению¹; идеалы демократического, свободолобивого самодержавия тогда не звучали таким явным и режущим абсурдом, как в новейшую эпоху бюрократического самовластия под предлогом самодержавия. Конечно, если бы Достоевский, И. С. Аксаков и другие славянофилы дожили до наших дней внутренней и внешней Цусимы, они примкнули бы — я в этом совершенно убежден — к общему антибюрократическому движению, хотя, конечно, имея свой особенный голос, не затерялись бы в этом разноголосом хоре. Но такого объяснения, конечно, мало. В отрицательном настроении Достоевского к освободительному движению 60-х и 70-х годов сказывается и своеобразный душевный вывих, некоторая аберрация, слепота. В чем ее источник? Я вижу его — и не только для Достоевского, но и для всего славянофильства — в той религиозно-философской противоположности, какая существовала по разным историче-

¹ Вспомним Герцена: «Ты победил, Галилеянин».

ским причинам, о которых говорить здесь не место, между славянофильством и западничеством. Освободительное движение шло под флагом философского нигилизма и материализма, ставшего как бы его религией. И отталкиваясь всем своим внутренним существом от этого нигилизма, Достоевский отталкивал от себя и все, что казалось с ним неразрывно связано, а в том числе и конституционализм. От философской лжи противников Достоевский не сумел отделить его относительную политическую правду и связать ее с своей религиозной правдой. Обеим сторонам казалось, что, только отрицая религию, и можно отрицать бюрократическое самовластие, гипноз исторического факта заслонял ту истину, что такое самодержавие можно и должно отрицать и во имя религиозной правды и что именно религиозная критика абсолютизма, инстинктивно хватящегося за авторитет религии, может быть для него самой убийственной. Достоевский со своим мировоззрением в духовной атмосфере базаровского нигилизма оставался в страшном, подвижническом одиночестве, а бремя исторического одиночества, даже возлагаемое на могучие плечи, нельзя нести без всякого вреда для себя, не платясь за него тем или иным духовным уродством. И если Достоевский отстоял себя в том, что было для него самым важным, именно в области религиозно-философской, то исказилась и отчасти изуродовалась, так сказать, политическая сторона его души. Здесь надо видеть следы не личного распада, но исторического раскола в русском обществе, поистине, *saeculi vitia, non hominis*. На некоторые несоответствия и частные противоречивости в мировоззрении Достоевского указывал еще В. С. Соловьев, духовно столь близкий Достоевскому. И на нас, на тех, кто считает себя духовными наследниками и Достоевского, и Соловьева и продолжателями их исторического дела, лежит теперь задача вправлять этот вывих, вводить относительную правду освободительного политического и социального движения в религиозное сознание, а это последнее внести в это движение, мирить этот духовный раскол, засыпать пропасть, которая образовалась, кажется, еще с петровской реформы и особенно углубилась в 19-м веке и в начале 20-го.

Возвращаясь к политическому мировоззрению Достоевского и других политических славянофилов, следует указать, что их приверженность самодержавию ничего общего не имеет с вождедениями теперешних охраните-

лей и реакционеров. Достоевский отстаивал самодержавие во имя свободы народной,— это факт. Будучи по непосредственному опыту знаком с отрицательными сторонами западного парламентаризма, он не верил в его плодотворность в России, противопоставляя этому, конечно, не идеальному, но все же исторически пока лучшему политическому режиму идеальное, но в действительности не существующее самодержавие и, подобно всем славянофилам, плохой, но все же живой ломовой лошади предпочитая кровного, но лишь нарисованного арабского скакуна. Отношение царя к народу он конструировал как отца и детей, отводя в этой конструкции место и совещательному народному представительству: «оказать доверие» народу призывал он в последнем «Дневнике писателя», почти накануне 1-го марта. «У нас гражданская свобода,— писал он здесь же,— может водвориться самая полная, полнее, чем где-нибудь в мире, в Европе или даже в Северной Америке... Не письменным листом утвердится, а созиждется лишь на детской любви к царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и не мыслимо у других, у договорных народов, детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не было видано». Вот о каком самодержавии мечтал Достоевский, оттолкнувшись от западного конституционализма. Здесь можно видеть оптический обман, историческую иллюзию, но не ошибку нравственного суждения.

Как известно, Достоевский верил в исключительную миссию русского народа, народа-богоносца, как называл он его, ему он приписывал в своей Пушкинской речи черты всечеловека, искание всечеловеческой правды, всечеловеческого примирения. Вера в народ, эта почти религиозная вера Достоевского, находившаяся в связи с его эсхатологическими представлениями, есть вообще в высшей степени важный фактор в его проповеди. Иногда она вводила его в соблазн национализма, в какой не вводила уже Вл. Соловьева, всецело ее разделявшего, но вообще духовно грела его и была совершенно неотделима от всего его существа. В эти мучительные дни нравственного падения русского народа, в этой атмосфере всеобщего озверения и одичания, я часто думал последние годы о Достоевском. Что он чувствовал бы и говорил, если бы был жив теперь? Выдержала ли бы его вера эти мучительные испытания? В конце концов я ответил себе на этот вопрос все-таки утвердительно. Кто

скажет, каких мук это бы ему стоило — врезались бы еще глубже морщины и еще более искривились бы сосредоточенным страданием уста, но он справился бы с собой, ибо звериного образа, смрадного греха, беспомощности против искушений, даже виртуозной жестокости он и не отрицал за своим народом. В том же последнем «Дневнике писателя» он писал между прочим (и это повторяется у него в разных местах):

«Пусть все-таки, пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То именно и важно, во что народ верит как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у Бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа — Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие, роковые минуты свои народ наш решает и решал всякое общее дело свое всегда по-христиански».

Вот что отвечал на аналогичные вопросы Достоевский в свое время и что ответил бы теперь. После горя и позора последних лет ослабела ли духовная связь, внутренняя солидарность наша с народом, стали ли мы ему более чужды, меньше ли мы любим и верим в этот народ, темный, растлеваемый, столь легко становящийся орудием темных сил? Нет, но мучительней. Есть кровная привязанность, при которой причиняемые муки только сильнее приковывают, только окончательнее покоряют, научают любить и прощать, любить не за что-нибудь, но как будто — хотя это на самом деле и неверно — вопреки всему. Такой любовью Достоевский любил народ русский, и ей он не изменил бы до конца. Но как нужен был бы он нам теперь, в те дни, когда немело даже могучее перо Толстого, как со всей правдой и пламенеющим гневом пророческого обличения ударил бы он по сердцам своим словом, как разил бы он врагов правды, врагов русского народа; но приходится нам роковой час нашей истории переживать без Достоевского, да с него-то было довольно и того, что он уже пережил... Позвольте мне

заклЮчить эту характеристику проникновенными словами В. С. Соловьева, указывающими самую драгоценную особенность духовной индивидуальности Достоевского:

«В том-то и заслуга, в том-то и все значение таких людей, как Достоевский, что они не преклоняются перед силой факта и не служат ей. Против этой грубой силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро — в то, что должно быть. Не искушаться видимым господством зла и не отречься ради него от невидимого добра — есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто неспособен на этот подвиг, тот ничего не сделает и ничего не скажет человечеству. Люди факта живут чужою жизнью, но не они творят жизнь. *Творят жизнь* люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми,— они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня помним»¹.

К этой характеристике от себя я прибавлю еще одну только черту. Современное человечество, которое лелеет золотые сны о покое и счастье будущих поколений и ради этих снов приносит столько жертв, все же в глубине своей души, в интимнейших своих порывах чтит только страдание, вольное, жертвенное, и даже невольное. Отчего так дороги нам, так повелительно склоняют наши почтительные головы освобожденные шлиссельбуржцы и другие страдальцы-мученики освободительного движения? Достоевский как никто почувствовал и выразил эту коренную общечеловеческую черту. Вспомните мучительную сцену Раскольникова с Соней, когда он вдруг опускается на колени и целует ей ногу.

«— Что вы, что вы это? Передо мною! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжалось вдруг ее сердце.

Он тотчас встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился,— как-то дико произнес он и отошел к окну».

Вы помните также, как святой старец кланялся Дмитрию Карамазову в ноги, предчувствуя, на какое страдание он обречен. Можно по-разному объяснять это, но в этих чувствах, в этих переживаниях содержится какая-то глубокая и значительная правда. Поклонимся же и мы святыне человеческого страдания в лице нашего писателя, чело которого, вместе с лучом бессмертия, венчает самый высший венец, какого может удостоиться человек, *венец терновый!*..

¹ Собр. соч. В. Соловьева, т. III, 185.